

ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич / Lev YAKOVLEV

| Колонизация прошлого |

ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич / Lev YAKOVLEV

Россия, Саратов.

Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина.

Кафедра социологии, социальной политики и регионоведения. Доктор социологических наук, профессор.

Russia, Saratov.

P. A. Stolypin Volga Region Academy of Public Administration.

The Department of sociology, social policy and regional history. PhD in sociological sciences, professor.

[lionel1801@gmail.com](mailto:lionel1801@gmail.com)

## КОЛОНИЗАЦИЯ ПРОШЛОГО

Культурная память тесно взаимосвязана с памятью исторической. Нашему восприятию доступно не само прошлое, а представления о нем. Эти представления вариативны, и не представляют собой достоверных отражений реального прошлого; социализированы, могут подвергаться цензуре и коррекции со стороны официальной идеологии. Историческая память конструирует виртуальное прошлое. В его фиксации ключевое значение принадлежит художественным текстам, между которыми, и историческими нарративами, происходит очевидное сближение. Смена типов дискурсов художественной прозы, киноискусства, имеет следствием изменение структур культурной памяти. Она индивидуализируется, становится фрагментарной, отрицает метанарративы. Осуществляется переадресация оценочных суждений к современным системам ценностных конструкций. Культурно-историческая преемственность в традиционном, для периода последних полутора столетий понимании, перестает существовать, сменяясь новыми моделями генезиса социокультурных идентичностей.

**Ключевые слова:** культурная память, историческая память, текст, виртуальное прошлое, эпистемологическая неуверенность, структуры культурной памяти, культурно-историческая преемственность

## The Foretime Colonization

Cultural memory is closely linked to historical memory. The past does not exist in accordance with our perceptions of the past, but only our ideas about it. These ideas vary, and do not constitute a reliable reflection of the actual past. These ideas are socialized, and thus can be censored and corrected by the official ideology. Historical memory constructs a virtual past. In the fixation of the past, artistic texts play a key role, together with historical narratives, between which there is an obvious convergence. Changing the types of discourses of fiction and cinema, has the effect of changing the patterns of cultural memory, making it more individualized and fragmented, and often denying meta-narratives. In addition, another effect is the redirection of value judgments in regard to modern designs. For the last 150 years, cultural and historical continuity, in the traditional sense, has ceased to exist and has been replaced by new models that symbolize the genesis of new social and cultural identities.

**Key words:** cultural memory, historical memory, text, virtual past, epistemic uncertainty, the structure of cultural memory, cultural and historical continuity

Слова, в действительности, являются не средствами означивания вещей, но способом конструирования виртуальных миров. Мы сталкиваемся с проявлениями этой подлинной сущности слов постоянно, надо лишь взглянуть в окружающие нас чудеса.

Феномен, более уместный, кажется, в цикле романов Пола Андерсона «Патруль времени», чем в нашей прозаической жизни — комиссия, созданная в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 № 549 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 15.05.2009 № 549 «О Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России» <http://document.kremlin.ru/doc.asp?ID=052421>; Указ Президента Российской Федерации от 22

января 2010 года № 97 «О внесении изменений в состав комиссии при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2009 г. № 549» <http://www.rg.ru/2010/03/30/kom-site-dok.html>; Вероника Боде. Комиссия борцов за историческую правду <http://www.svobodanews.ru/content/article/1734756.html>; Артем Кречетников. О «фальсификации истории» [http://www.bbc.co.uk/russian/interactivity/2009/05/090521\\_blog\\_krechetnikov\\_history.shtml](http://www.bbc.co.uk/russian/interactivity/2009/05/090521_blog_krechetnikov_history.shtml); Соколов М. Крайне симметричный ответ // Эксперт. 2009. № 20 (658) от 25 мая.; Российская власть не до конца определилась по вопросу о попытках фальсификации истории, считают в КИРФ <http://kprf.ru/dep/80714.html>; Россия гарантировано прошлое <http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1172771>; Комиссия против истории <http://www.polit.ru/country/2009/05/19/history.html>; Страна, которую возглавляет Медведев, сама появилась в результате пересмотра итогов войны <http://www.liberty.ru/groups/experts/Ctrana-kotoruyu-vozglavluyaet-Medvedev-sama-poyavilas-v>



Буквальное прочтение заглавия этого документа фантастичнее вымысла. Прошлое не нуждается в защите, оно просто прошло, и недоступно (в отличие от будущего) изменению. Туда нельзя послать «патрульных времени», с приказом противодействовать попыткам злоумышленников исказить историческую правду.

Конечно, комиссия создана не для вмешательства в само прошлое, а для борьбы с его фальсификациями. Но стоит думать, что это означает на самом деле: признание того, что наши представления о прошлом пластичны, их можно менять. Систему достоверно известных фактов нельзя исказить, более того, в пространстве этой системы возможен лишь один адекватный проект интерпретаций, по крайней мере, за пределами кенограмматической (многомерной) логики Готхарда Гюнтера, с ее принципом «отрыва» от альтернативы<sup>2</sup>. Разумеется, отдельно взятый факт можно интерпретировать по-разному, но в этом случае нет оснований претендовать на знание истории: ведь она представляет собой целостное, комплексное развитие событий. Следовательно, мир, где в принципе возможны фальсификации, не обладает полным, непротиворечивым знанием собственного прошлого, но складывается представления об этом прошлом на основании имеющихся ограниченных данных, логических выводов из скудных посылок, домыслов.

Крайним показателем этой пластичности являются, конечно, сочинения А. Т. Фоменко, Г. В. Носовского и их последователей<sup>3</sup>. Но популярность придуманной ими «свёрнутой» истории возможна потому, что многослойна, неоднородна сама историческая память социума. Как пишет М. Ферретти, «памяти самой по себе, так же как и прошлого, не существует. Это всегда конструкция, результат непрерывной и неслышной активности, порой сознательного, а порой бессознательного взаимодействия многочисленных людей и разнонаправленных сил, которые снова и снова ткут воздушное покрывало прошлого. Парадоксально, но в обществе существует столько же видов памяти, сколько индивидуумов, семей, социальных групп, кланов. Память множественна, и часто разные ее проявления разделены и конфликтуют между собой».<sup>4</sup>

rezul-tate-peresmotra-itogov-voyny; Экс-президент СССР усомнился в полезности комиссии по борьбе с фальсификацией истории <http://www.epochtimes.ru/content/view/24886/3/>; Russia panel to 'protect history' // BBC News. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8058087.stm>.

<sup>2</sup> Gunther G. Logik, Zeit, Emanation und Evolution. Opladen: Wetsdeutscher Verlag, 1967; Gunther G. Das Janusgesicht der Dialektik // Hegel-Jahrbuch. 1974. S. 89-117; Луман Н. Две социологии и теория общества // Теоретическая социология: Антология: В 2 ч. / Пер. с англ., фр., нем., ит. Сост. и общ. ред. С. П. Баньковской. М.: Книжный дом «Университет», 2002.

<sup>3</sup> Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Христос родился в Крыму. М., Изд-во АСТ, 2009; Официальный сайт научного направления НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ. <http://chronologia.org/>; Бюллетень № 2 «В защиту науки» 12.11.2007. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН. <http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=7f117c9a-ec2d-4c3b-aff3-2fcba550cbb>; Володихин Д. М. Феномен фольк-истории // Мифы «новой хронологии». Материалы конференции на историческом факультете МГУ 21 декабря 1999 г. / Под ред. В. Л. Янина. — М.: SPSS-Русская панорама, 2001, с. 177-189; «Новая Хронология»: официальный сайт группы НХ. <http://www.newchrono.ru/>; Библиотека фоменкологии. <http://hbar.phys.msu.ru/gorm/library.htm>.

<sup>4</sup> Ферретти М. Непримируемая память: Россия и война. Заметки на полях спора на жгучую тему // Неприкосновенный запас. 2005, №2-3

Соотношение собственно культурной и исторической памяти определяется, во-первых, нашим пониманием культуры, степенью широты используемых определений, и, во-вторых, более высокой степенью универсальности первой в методологическом плане. Культурная память никогда не претендовала на объективность, она по определению принадлежит субъекту. В отношении памяти исторической достаточно долго действовала иллюзия «достоверности». Аккультурация исторической памяти — процесс, в решающей мере определяющий динамику нашего понимания мира.

Важной является проблема соотношения индивидуальной (персональной) и коллективной или социальной памяти, отмечает Л. Репина. Индивид имеет не только настоящее и будущее, но и собственное прошлое, более того, он сформирован этим прошлым: как своим индивидуальным опытом, так и коллективной, социально исторической памятью, запечатленной в культурной матрице<sup>5</sup>. В этом пространстве постоянно возникают и умирают новые виртуальные миры. И одним из наиболее значимых способов их фиксации оказывается художественное творчество в жанре альтернативной истории.

На глубинное сродство художественной прозы с историческими нарративами обращал внимание еще Х. Уайт<sup>6</sup>. Художественная литература рассматривается в качестве инструмента моделирования прошлого, управления коллективной памятью<sup>7</sup>. В дальнейшем поиски «живого прошлого», традиционные и экспериментальные «игры с прошлым» привлекают внимание Р. Коллингвуда, С. Хука, И. Савельевой, А. Полетаева<sup>8</sup>. При этом недостижимость прошлого может пониматься и как его вымышленность, основание для epistemological uncertainty, эпистемологической неуверенности (радикального эпистемологического и онтологического сомнения по Ж. Бертенсу, эпистемологического кризиса по К. Брук-Роуз). По точному замечанию С. Переслегина, «игра в историю» — это модификация вероятности, превращающая виртуальную конструкцию в наблюдаемую»<sup>9</sup>.

Идея приспособления образа прошлого к текущим нуждам отнюдь не изобретена Дж. Оруэллом. Собственно, именно так люди поступали всегда. Тацит и Светоний изменяли мир вокруг, навязывая ему те картины прошлого, которые соответствовали их пониманию логики истории; готы, франки, саксы, лангобарды, заселяя Европу, осваивали и виртуальное пространство, маркируя его своими легендами, своими хрониками.

Освоение прошлого сегодня строится по иным схемам. Прежде всего, нет стремления к выстраиванию непрерывной,

(40–41).

<sup>5</sup> Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07 М.: ГУ ВШЭ, 2003. с. 14.

<sup>6</sup> White H. Tropics of Discourse. Baltimore, 1978. P. 84.

<sup>7</sup> Brooks P. Reading for the plot: Design and intention in narrative. N.Y., 1984; Jameson F. The political unconscious: Narrative as a socially symbolic act. Ithaca, 1985; Price M. Forms of life: Character and imagination in novel. New Haven, 1983.

<sup>8</sup> Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 378; Хук С. «Если бы» в истории // THESIS. 1994. Вып.5; Савельева И., Полетаев А. Знание о прошлом как проблема социологии знания // Новое литературное обозрение. 2001. №52; Савельева И., Полетаев А. История и время: В поисках утраченного. М., 1997. С. 657–659.

<sup>9</sup> Переслегин С. Б. Альтернативная история как истинная система. [http://www.igstab.ru/materials/Pereslegin/Per\\_TrueHistory.htm](http://www.igstab.ru/materials/Pereslegin/Per_TrueHistory.htm)



внутренне обусловленной, исторической линии. Освоение прошлого осуществляется фрагментарно, либо от условных точек бифуркации, либо в пространствах, конфигурируемых отдельными аспектами социальных взаимодействий. Показательным в этом плане является текст Юрия Нестеренко и Михаила Харитонова «Юбер аллес».

Книга эта во многом символична, начиная с названия. Транскрипция фразы из одиозной песни на кириллице, с одной стороны, создает некую атмосферу издевки, почти как столь же классическое «Гитлер капут»; а с другой стороны, служит идеальным вводом в атмосферу созданного Ю. Нестеренко и М. Харитоновым виртуального пространства. Это мир, где вторая мировая война СССР проиграна. Не до конца она выиграна и Германией, тем более, что сама Германия вовсе не такова, какой она реально была в сороковые годы. Путч Штауфенберга, по сути, перенесен в 1941 год и сделан успешным. Самой личностью Штауфенберга, при этом, естественно приходится пожертвовать: герой переворота — Дитль.

Вопрос о том, насколько такая смена власти могла иметь решающее значение, оставим участникам многочисленных штабных игр, проводящихся по событиям второй мировой войны. Интересно другое: в конце XX столетия виртуальный мир «Юбер аллес», практически, выравнивается с тем, в котором мы живем. Различия связаны только с существованием Рейхсраума, консолидирующегося вокруг Германии, представляющей собой, по сути, весьма осторожно смоделированный синтез реальной ФРГ с третьим рейхом. Национал-социализм, «подчищенный» от наиболее одиозных проявлений, сращивается с институтами социального государства. Во многом это общество похоже на СССР эпохи перестройки, разумеется, отличаясь от него куда большей эффективностью и видимой стабильностью (в дальнейшем, впрочем, демонстрирующей свою ложность).

«Юбер аллес» представляет собой, собственно, реализацию еще одной программы осмысления экзистенциального противоречия, вызвавшего к жизни тексты Ж. П. Сартра «Дьявол и Господь Бог», М. Кундеры «Невыносимая легкость бытия»: противоречия между идеей свободы и стремлением человека к уверенности, защищенности, стабильности. «Я слабая, и уезжаю в страну слабых», пишет героиня М. Кундеры в прощальной записке. Рейхсраум Ю. Нестеренко и М. Харитонова, эволюционируя в направлении социального государства, тоже стал местом, где слабым уютно, и именно поэтому в нем рождаются идеи реванша, «закручивания гаек», возвращения в идеалам национал-социализма, манифестируемым самым омерзительным персонажем книги, Отто Ламбертом. В этом образе и осуществляется разоблачение лжи тоталитарных идеологий середины XX века о «новом человеке»: заявлено преобразование людской природы, а выходит помесь культуриста с уголовником.

Политическое прочтение ситуации кажется очевидным: в смысловой паре «национал-социализм» руководством виртуального рейха акцент был сделан явно на второй компонент, разращенное потребительством общество идейно разоружилось, и пало жертвой франко-американской пропаганды. Однако, версию эту слишком настойчиво повторяют герои «Юбер аллес», чтобы в нее можно было поверить. И ближе к кульминации мы узнаем о виртуальном рейхе больше. Достаточно,

чтобы не нуждаться в ложных объяснениях. Узнаем и о том, почему, все-таки, эта книга была дописана, уже в нулевые годы.

Вряд ли кто-то может находить смысл в создании еще одного объяснения причин краха СССР, тем более, не слишком радикально отличающегося от уже имеющихся версий. Но мир, описанный Ю. Нестеренко и М. Харитоновым, оставаясь похож на поздний Советский Союз, не копирует именно это общество: оно само по себе не уникально, и распад его типичен в том смысле, что подобным путем вполне могут идти и государства, элиты и население которых меньше всего считают, что между ними и поздним СССР есть что-то общее. Но оно есть. Это — растянувшаяся, почти до бесконечности, дистанция власти.

В книге «Юбер аллес» глава виртуального рейха, которого и фюрером-то называть как-то неприлично, космонавт, фотогеничный парень, без капли крови на руках, подыскивает себе преемника. И в этот момент мы понимаем, что этому человеку и в голову не приходит задуматься, есть ли у его народа какие-то мысли насчет того, кому им править. Этот вопрос лидер относит целиком к своей зоне ответственности, а с ним и все остальные тоже. В рейхе нет концлагерей (более того, в этой ветке истории их вовсе не было), недовольных не отправляют, немедленно, в гестапо, но, не делая ставки на террор, власть остается безоговорочно тоталитарной в смысле формы диалога с народом. Беда ее в том, что утрачено найденное именно тоталитарными режимами искусство поддерживать иллюзию солидарности народа и власти.

«Юбер аллес», в отличие от абсолютного большинства произведений в жанре альтернативной истории, действительно базируется на серьезном анализе вариаций исторического процесса и предлагает вполне обоснованную модель, которая, на самом деле, могла иметь место. Вторая мировая война здесь заканчивается, по сути, вничью. Чтобы подобный компромисс мог иметь место, должны были существенно измениться обе стороны, причем так, чтобы эволюция не привела к обострению конфликта. И найденный авторами вариант является наиболее достоверным: и в Германии, и в СССР, происходит консервативный переворот. Различны лишь его обстоятельность, суть одна. К власти приходят выразители идей большинства, желающего порядка, благополучия, уверенности в будущем.

Собственно, на первый взгляд, Россия и Германия в этой ветке истории не слишком отличаются от себя в нашей реальности. Но, буквально с первых страниц, мы начинаем чувствовать отзвуки мелодии, на которой выстроен «Фатерлянд» Роберта Харриса. Главный герой, сын генерала Власова, работающий в РСХА под началом Мюллера (не того самого, конечно, но нарочито похожего на героя «Семнадцати мгновений весны») постоянно ощущает себя в роли голландского мальчика, затыкающего пальцем плотину: люди вокруг упорно не хотят ценить германский порядок, охотно подвергаются растлевающему влиянию атлантизма. А его миропонимание почти сводится к формуле «компромисс — половина поражения», оправдывающий редкостную негибкость мышления. Здесь просится, от противного, параллель к «Евразийской симфонии». Там много сюжетно, композиционно, стиливо схожего — кроме ощущения потерянности в меняющемся мире. У тамошних сотрудников служб безопасности в понимании со стороны граждан не-



достатка нет, и гармония с миром нарушается лишь досадными вторжениями инородных сил.

Для Власова-младшего и «инородные силы» представляют, скорее, как некие «унтерменьши», опасные не своей силой, а развращающим примером. Он сталкивается с этим каждый раз, включая компьютер: «терпеть не мог эту графическую оболочку — рассчитанную на интеллект ниже среднего, яркую, аляповатую, громоздкую и ненадежную, как все американское... что хуже всего, «окна» стремительно становились мировым стандартом, в то время как дойчское программирование всё больше отставало, проигрывало в мировой гонке за потребителя. Пресловутая добросовестность неожиданно оказалась мешающим фактором: гениальные дойчские кодемайстеры были просто не способны предлагать покупателям сырые, недоделанные программы — в то время как американцы преспокойно заполняли рынок дерьмом в красивых коробках»<sup>10</sup>.

Поводом для ксенофобии становится и «американский цайхенфильм о мышонке Томе, который на протяжении всей ленты безнаказанно и изощренно издевался над котом Джерри... во время войны «джерри» было американским прозвищем дойчских солдат и дойчей вообще... политуправление прохлопало и это, и дойчские детишки в зале весело хохотали, глядя на выходки наглого мышья». Отсюда вполне естественно следует вывод: «нельзя сказать, что призывы закрыть границу с Россией совсем уж бессмысленны. В конце концов, не так страшен ввоз в страну наркотиков и проституток, как ввоз идей, призывающих относиться к тому и другому толерантно».

«На пустыре уличной свободы растут одни сорняки», заявляет нарратор, по сути, не видя альтернатив изоляции рейхсраума, искусственного пространства, в котором, может быть, удастся построить «правильный» мир: «Мы почему-то отдали врагу право называть себя «Мировым Сообществом», после чего немедленно начали ощущать себя провинциалами. И нуждаться в «международном признании». То есть в похвале врага, если называть вещи своими именами. И чествовать тех, кто заслужил эту похвалу. Но заслужить похвалу врага может только тот, кто ему полезен». Причем речь идет отнюдь не исключительно о политике: «не знаю, кто принес человечеству больше зла — Маркс или Фрейд. И, как бы я ни относился к Хитлеру, но когда он жег книги того и другого — он был прав на сто пятьдесят процентов. Это не было возвратом в средневековье, как вопят либеральные демагоги. Это была нормальная дезинфекция».

Возникает естественный вопрос, полноценна ли культура, оказывающаяся не в состоянии поддерживать свою идентичность без железного занавеса. У Власова-младшего и на него

<sup>10</sup> Здесь и далее цитаты даны по электронной версии книги, в которой она, на данный момент, и существует. Стоит заметить, что, начиная с текстов В. Пелевина, В. Сорокина середины 90-х годов, все больше книг обретают массового читателя до выхода в бумажной версии. Это вполне естественная тенденция, определяемая неприемлемыми ценами на бумажные книги, явными преимуществами с точки зрения комфортности чтения версий электронных, ориентацией все большего числа читателей на отказ от бумажных носителей, становлением экологического сознания. В течение ближайших полутора десятилетий бумажные книги займут свое место в хранилищах раритетов. См.: Юрий Нестеренко, Михаил Харитонов Юбер аллес. <http://yun.complife.ru/uberalle.rar>

есть ответ, причем довольно логичный. Это сцена в самолете с невоспитанным ребенком: «в тот момент ему было приятно совершить зло. Но если бы он его совершил и не получил своего наказания — что произошло бы в его душе? Молчите? Тогда скажу я: он снова убедился бы, что всё в мире относительно, добра не существует, а зло остаётся безнаказанным. И убедили бы его в этом вы, пытаясь спасти его от наказания. Тем самым вы дали ему понять, что он родился и живёт в аду. Потому что мир, в котором зло безнаказанно, а добра не существует — это и есть ад. Своими любящими руками вы поместили его в ад», разъясняет он, скажем прямо, в высшей степени неумелой мамаше, как надо воспитывать ребенка.

Все, в принципе, правильно, и, возможно, если бы мальчика воспитывал Власов-младший, а не произведшие того на свет родители, с ним не случилось бы ни малых бед, ни венчавшей их беды большой. Только две вещи заставляют нас в этом сомневаться. Во-первых, ребенок родился больным. И мы помним, как в настоящем, не виртуальном рейхе, поступали с инвалидами от рождения. Несомненно, сам Власов не стал бы заниматься ликвидацией «неполноценных», как не мог бы служить в лагерной охране. Но принципы, которыми он руководствуется, ведут именно в ту сторону, откуда тянет дымком крематориев. Во-вторых, у него самого детей нет, причем Власов-младший представляет собой крайнюю версию child-free, отказываясь не только от семьи, но и от любовных связей. Эта стерильность является ничем иным, как прямым выражением неверия в собственные идеалы, вернее, в их осуществимость в столь несовершенном, увы, мире.

Чутье на несовершенство, пожалуй, основной талант главного героя «Юбер аллес». Юмор оказывается поддерживающей этот текст структурой, воспроизводя ту атмосферу стеба, которая столь характерна для социумов, способных осознавать свое несовершенство. Это, зачастую, пассажи, представляющие собой аллюзии к текстам М. Задорнова: «— Так-то оно так, — покивал таксист, — а все ж обидно, что посереде Москвы — памятник чужеземному солдату.

— Но ведь при дойчах был порядок?

— Был. Это они молодцы, без них бы мы...

— Ну так что же вы видите неправильного в памятнике?

— Я ж не говорю, что неправильно. Я говорю, что — обидно».

В каких-то случаях ирония звучит с надрывом: «Грохотала непонятного происхождения музыка, напоминающая своей беспородностью уличную шавку: слышно было только ритмично повторяющееся «дц! дц! дц!», местами скрашенное незадействованной мелодией. В середине за сдвинутыми столами сидела и шумела большая компания уже подвыпивших мужиков». Но герой, как правило, выдерживает свой стиль, для которого важно не утратить уверенности, критериев оценки: «друзья дошли до освещенного фасада, над которым горела надпись «Калачи» с двумя рыжими неоновыми блямбами по бокам. Присмотревшись, Фридрих сообразил, что эти штуки изображают какие-то хлебулочные изделия — судя по форме, кренделя. Из чего Власов сделал закономерный вывод, что заведение принадлежит русским или юде: хозяин-дойч, прежде чем использовать в названии своего дела непонятное слово, хотя бы заглянул бы в энциклопедию».



У авторов «ЮберАллес» не возникает проблем с обоснованием «дезинфекционных» стремлений героя. Действие происходит в разболтанной, расхлябанной части рейхсраума, России, где, сквозь держащийся еще дойчский порядок, проступают все время черты мира, сбросившего с себя узы ответственности: свобода — это хаос. «Насупленный мужчина в грязной некрасивой одежде — Власов извлёк из памяти слово «телогрейка» — с рюкзаком за плечами ломился по лестнице вниз, поперёк восходящего людского потока. Люди, ругаясь, сносили его обратно, но он упорно продвигался, не обращая внимания на то, что совсем рядом находился законный спуск. В рюкзаке что-то стеклянно звенело...

— Этот тип хочет прорваться в подzemку через выход. Чтобы не платить.

— Не платить пять копеек? У него нет пяти копеек? — не поверил Фридрих.

— Есть, конечно. Не платить законную цену за законные услуги — это и есть русский харак... — он не договорил: к ящику притиснулся здоровенный бугай разбойного вида, и, отпихнув тщедушного Лемке, бросил в щель автомата какую-то железку, отдалённо напоминающую монету. Автомат обиженно заурчал и выплюнул дрянь в лоток. Тогда бугай с досады стукнул по ящику кулаком. Железный ящик глухо звякнул, но и только. Бугай злобно зашипел, как кот, подул на кулак и нырнул в толпу». «Внутренности вагона выглядели довольно аскетически. Все удобства, которые предлагались пассажиру, заключались в узеньких железных сиденьях и паре металлических поручней, намертво вделанных в потолок. Окошки были забраны мелкой, но прочной на вид металлической сеткой — впрочем, прорванной в нескольких местах. На потолке горели маленькие, но яркие лампочки в виде глазков, забранные толстым стеклом. Кое-где стекло было замазано краской — видимо, оно было настолько прочным, что больше ничего с ним было сделать нельзя. Зато стены были исцарапаны и изрезаны как только возможно... В целом всё это напоминало внутренности мусорного бака».

Эти зарисовки с натуры могут маркировать что угодно: разруху, вызванную крахом СССР; ущербность русского национального характера; неполноценность государства, столетиями не выполнявшего своих функций; неразвитость гражданского общества; происки агентов мирового русофобского заговора. Вообще-то, на самом деле они говорят об отсутствии качественного законодательства, адекватных ему правовых практик и вытекающей из этого правой культуры населения. Но этот вывод малопродуктивен как в идеологическом, так и в художественном смысле, и потому непопулярен. Увидеть за разрухой «загадочную русскую душу» — значит, создать повод для занятия, которое в России принято называть «философствованием», приятного, и ни к чему не обязывающего. «Была я в этом Берлине. С виду всё здорово, а как посмотришь — ничего особенного. Чисто, как в морге. Плюнуть некуда. Жизни там нет, — убеждённо заключила она. — Как там можно жить, не понимаю».

Нерв коллизии героя именно в понимании им абсурдности, нелогичности происходящего: «Вы защищены от преступности, от безработицы, от нищеты в старости. Вы покупаете свой инсулин по символической цене, а визиты к врачу для вас и

вовсе бесплатны, ибо ваше здоровье защищает Министерство здравоохранения. Лучшая в мире армия защищает вас от угроз извне. Ваш муж защищен от недобросовестной конкуренции со стороны выходцев из третьего мира. Законы Райха защищают право вашего сына на бесплатное образование, включая учебу в лучших европейских университетах. И при этом, в отличие от своих сверстников в атлантистских странах, он будет защищен и от торговцев наркотиками, и от грязных извращенцев. Какой же защиты вам не хватает?», обращается он к этим людям, не желающим признавать очевидного: «быть деталью хорошо сделанного и полезного механизма куда лучше, чем быть частью механизмов слепой и безмозглой природы».

Четверть населения России, голосующая сегодня за коммунистов, его бы не то, чтобы поняла — готова поступать так, будто с ним согласна. Остальные — не то, чтобы на самом деле «выбирают свободу», политики либеральной ориентации не в состоянии и семипроцентного барьера преодолеть. Дело даже не в том, что им не нравится быть частью механизма. Просто любая система предполагает неравенство возможностей, и, чем более она упорядочена, тем безусловнее это неравенство. «Вся нацистская пропаганда основана на страхе перед будущим, вы не умеете и не желаете видеть перспективу»; здесь речь не о продуманной, спланированной, перспективе, а об обыкновенной человеческой надежде. Надежде на случай, чудо, стечение обстоятельств, кем-то, где-то, совершенную ошибку, позволяющие стать большим, чем ты есть.

И выясняется, что для утверждения очевидного приходится слишком многое отменить, обречь на уничтожение. Политику: «политика — это то, от чего истинно цивилизованному обществу надо как можно скорее избавиться. Избавляемся же мы от тех, кто умеет только отнимать или выманивать чужое». Религию: «Пусть даже это добро за чужой счёт, пусть даже этот счёт оплачен чьим-то страданием — но не возражать же против добра... А когда придёт время, проповедники добра замолчат, и вступит другой хор, и он будет взывать не к добру, а, скажем, к отмщению». Свободу слова: «Какая всё-таки удобная вещь — свобода мнений... У западной змеи тысяча языков, и каждым языком она говорит разное, и с какой-то точки зрения она всегда оказывается права». В конечном счете, человека вообще: «Никакие идеи, даже самые красивые и правильные, не будут работать, пока человек в массе своей остается свиньей». И коммунизм, и нацизм ставили на воспитание «нового человека», старый их не устраивал. И потому поражение «великих идеологий XX века» было неизбежно.

Власов-младший оказывается способен не то, чтобы принять, но, хотя бы, понять, свое поражение. В политической игре его непосредственным противником оказывается ближайший друг, Эберлинг, мотивов которого он не может до конца понять, признавая за этими мотивами только одно: искренность. Друг, к которому он относится с немногом нарочитым сочувствием, потому что тот, живя в России, слишком стал похож на русского: начал пить, позволяет себе выдумывать какие-то фантазии. А человек этот хочет позволить времени вновь двигаться, отказаться от сохранения установленного после войны миропорядка. Станет ли мир лучше, он не знает; но и права на перемены достаточно, чтобы заплатить за него собственной жизнью.



Власова хватает лишь на запоздалую попытку помешать. Он опять все верно рассчитал, сумел сделать невозможное — сбить в воздушном бою учебный самолет из обычного пистолета, и уже полагал себя выполнившим долг. Но в виртуальном мире Харитонов и Нестеренко еще не было Гастелло. «Пилот, смотревший на несущуюся навстречу бескрайнюю стену земли, был любителем. Но он все же успел отдать ручку от себя, переводя нос сперва вертикально вниз, а затем назад. Земля и небо поменялись местами, и отрицательная перегрузка выплеснула его кровь через дыру в шее за несколько миллисекунд до того, как самолет, автомобиль и четыре человеческих существа стали единым клубом огня». Теракт удался, «принцип домино» сработал, казавшаяся незыблемой империя рухнула.

Именно в этих мгновениях заключен смысл виртуально-го бытия Фридриха Власова, смысл нашего с ним знакомства. Несколько часов причастности к великому, подлинному событию, в которых и заключен ответ на вопрос о причинах краха великих идеологий XX века и созданных ими империй. Идеологии оставались незыблемы, а империи несокрушимы до тех пор, пока там, где нужно было принимать ключевые решения, оказывались люди, для которых слова «империя превыше всего» были не пустым звуком, но подлинным смыслом жизни, а жизнь человеческая, своя или чужая, не стояла ровно ничего. Можно называть это, вслед за Л. Гумилевым, пассионарностью; можно ужасаться или восхищаться способными на это людьми. Главное в том, что экзальтация не бывает вечной.

«ЮберАллес», конечно, реквием по мечте. Выдержанный в ироничных тонах, без надрыва, и оттого убедительный для серьезного читателя. Даже пафос концовки остается сдержанным: «Смотрите! — воскликнул он, вытягивая руку. — Снова зажгли Вечный огонь! Вечный огонь в честь павших солдат Вермахта, горевший в пяти чашах Трептов-парка на протяжении сорока пяти лет, погас в первую же ночь после путча... один из лидеров СЛС, когда к нему пробился журналист «Берлинер Beobachter» с этим вопросом, промямлил что-то насчет экономики газа. Его товарищи по партии, впрочем, были более открытвенны, прямо призывая в своих газетах «сравнить фашистское капище в Трептов-парке с землей» и выстроить на его месте мемориал жертв нацизма или и вовсе торговый комплекс.

Мюллер, машинально вскинувший голову на слова Фридриха, тут же вновь опустил ее.

— Нет, — проворчал он. — Я там уже был. Это просто жгут мусор.

Что ж, подумал с горькой усмешкой Фридрих, хорошо, что его, по крайней мере, убирают. Во всяком случае, пока». Уравнивание мемориала жертв нацизма с торговым комплексом, возможно, самое символическое в этом пассаже. Это наш мир, мир сентябрьского теракта против Нью-Йоркского торгового центра, охапок цветов в торговых центрах Apple на следующий день после смерти Стивена Джобса, «диснейлендизации» по Дж. Ритцеру. Наш мир, в котором все клянутся именами своих богов, отказывая богам чужим в праве называться кем бы то ни было, кроме как демонами. И нельзя называть жестокостью вопрос к жертвам нетерпимости, были ли они сами терпимы к другим.

Как писал Ханс Моммзен, «немцы воспринимали положение, возникшее после мая 1945 года, как своеобразное отсут-

ствие истории. Взгляд назад мало что давал для необходимой переориентации и изменения ценностных позиций... Склонность к вытеснению периода национал-социалистического режима из сознания не в последнюю очередь отражалась в тенденции к отказу от преследования за национал-социалистские преступления»<sup>11</sup>.

Документом, с высокой степенью точности фиксирующим эти сдвиги в культурной памяти, может служить фильм британского режиссёра Стивена Долдри по одноимённому роману-бестселлеру немецкого писателя Бернхарда Шлинка, входившему в списки самых популярных книг газеты The New York Times, «Чтец» (The Reader). НARRАТОР, Михаэль Берг, родился в 1943 году, именно в тот год, когда его будущая любовница, Ханна Шмиц, «пошла работать», как она сама выражается, в СС. Разумеется, он не может нести за это ответственности, и мы видим наглядно, чисто по-британски прочитанную, в кинотексте, преемственность государственной машины (форма тюремных охранников заставляет вспоминать третий рейх), той самой, в сути своей, которая заставила неграмотную, наивную девушку стать палачом, а влюбившегося в нее мальчика — предателем и преступником.

Преступником, потому что он скрывает от суда сведения, способные существенным образом повлиять на совершение правосудия. Скрывает, несмотря на то, что его учитель ясно и недвусмысленно говорит на семинаре: «не имеет никакого значения, что мы чувствуем, важно, что мы делаем». И добавляет: если ваше поколение этого не поймет, мы прожили жизнь зря.

Так оно и получается, потому как Михаэль Берг понять не пожелал. Стыд, боязнь выглядеть в чьих-то там глазах неприглядно оказываются сильнее совести, и гражданского долга. Потому что, не получив от него необходимых показаний, суд принимает ошибочное решение; ошибочное не только в силу несправедливости в отношении Ханны Шмиц, но и по той простой причине, что уходят от ответственности реальные преступники. Возможно, виновные не столь уж многим более, чем она, но виновные.

Правосудие обращается в фарс, ибо существует не для того чтобы бывшая эсэсовка покалась (а она была к тому много ближе до суда, потому что уже осудила себя на одиночество, лишила права решать чужие судьбы, что проявляется совершенно очевидно в ее бегстве, совершающемся, как только ей предлагают повышение по службе), а чтобы назвать вещи своими именами. Как совершенно справедливо говорит о представленной в фильме версии денацификации сокурсник Берга, все это ложь, лагерей были тысячи, все это знают, а судят шесть человек. В этом подлинный смысл книги и фильма.

Недостаточно провозгласить денацификацию, чтобы государство переменялось, очистилось от тоталитаризма. На экране в середине 60-х годов оно остается все той же беспощадной, не желающей в принципе видеть живых людей машиной, служащей не конкретным людям, а абстрактным лозунгам. Машиной, заставляющей юношу-студента совершить поступок, который он потом будет пытаться исправить всю жизнь, но, разумеется, так и не исправит. В кульминационной сцене раз-

<sup>11</sup> Моммзен Х. Осмысление недавнего прошлого в Германии после 1945 года. Россия — Германия: пути преодоления прошлого // Независимая газета. 2001. 15 мая.



говора с единственной оставшейся в живых жертвой «работы» Шмиц, Иланой Мазер, он слышит кажущиеся слишком жестокими слова: «не идите в лагеря за прощением, там ничего нет»; но коробочку из-под чая, в которой Ханна хранила накопленные в тюрьме деньги, прошедшая лагеря женщина берет. Не только потому, конечно, что жестянка напоминает ей ту, что украли у нее в лагере, а потому, что прикосновением к этой вещи ей дано соприкосновение судеб; дано через сострадание. Все они жертвы того же самого, что в фильмах Сокурова, молота тоталитарной власти.

Конечно, нацизм не сделал преступниками всех немцев, миллионы людей сумели прожить эти двенадцать лет, не утратив совести. Но и судьба Ханны Шмиц — не повод для того самодовольного хамства, с каким встречает ее зал суда в день вынесения приговора. Легко объявить виновными во всем несколько сотен, или тысяч, людей, совершить над ними ритуальное псевдоправосудие, а потом жить, как жили, во грехе, до прихода следующего фюрера. И далеко не каждый способен, как Михаэль Берг, превратить собственную жизнь в покаяние; да и немного от этого толку, потому что он мог сделать в жизни куда больше добра, если бы не струсил тогда, в зале суда, не повесил на себя бремя вины, которое его раздавило.

Легко обвинять молодежь нового века в нежелании это бремя осмысливать. Но кто мы такие, чтобы решать, вправе ли она от него отказаться? Фильм Стивена Долдри как будто завершается примирением: Михаэль Берг посещает могилу Ханны Шмиц вместе со своей дочерью, рассказывает ей их историю и разрушает барьер, им же самим когда-то возведенный. Но от хэппи-энда здесь только голоса детей в церковном хоре; ибо «голос был сладок, и луч был тонок, И только высоко, у Царских Врат, Причастный Тайнам, — плакал ребенок О том, что никто не придет назад»<sup>12</sup>.

Еще раз, с самого начала. Неграмотная наивная девушка соглашается «работать» в СС. Почему — остается за кадром судебного заседания по более чем понятным причинам: суду совершенно незачем выяснять вопросы, ответы на которых могут поставить под сомнение авторитет власти как таковой, безотносительно к ее конкретным носителям. Понять это, однако, несложно. К 1943 году Германия жила довольно бедно, попросту говоря, девушке не хотелось ложиться спать голодной. Конечно, могла бы и потерпеть, если бы знала, что всего два года. Но ведь ее уверяли, будто она живет в тысячелетнем рейхе, а столько — не переждешь.

Впрочем, тоталитарные режимы обладают богатейшим арсеналом вербовки, ведь именно в этом их суть. Сам термин «тотальный» заимствован из речи Гитлера, в которой речь шла о тотальной войне, то есть войне, в которой участвует вся нация. Собственно, это просто инструмент, но инструмент не нейтральный по своей природе, а глубоко безнравственный, по той простой причине, что он заменяет индивидуальную мораль идеологией. Ханне Шмиц приказали поддерживать порядок, и мы слышим ее чудовищные признания в суде: надо было отбраковывать, отправлять на смерть, заключенных, чтобы освободить места в бараках; нельзя было открыть двери горячей

церкви, где умирали 300 еврейских женщин, потому что это создало бы беспорядок.

Вещи, не укладывающиеся в голове человека, не жившего в тоталитарном государстве, или сумевшего не воспринять принятую в таком государстве античеловеческую логику. Потому что в этой логике все, что Шмиц делала, правильно. И Берг-студент, поворачивающий с полдороги, побоявшись идти к ней на свидание в тюрьму, абсолютно не понимает сути происшедшего, просто потому, что сам родился в 1943 году. Он ждет от Ханны покаяния, как будто она сама решала, убивать заключенных, или нет, в то время, как ее вина совсем в другом: в том, что не нашла в себе смелости быть собой, жить по законам совести, или, в ее собственной терминологии, пошла *работать* в СС. Берг не отвечает на письма Ханны не потому, что боится говорить с ней, а потому, что боится разговора с самим собой.

Только если в том, что он многого не понимает, его беда, то в том, что не хочет понять — вина. А не хочет, потому что и сам так же зависим от диктата идеологии. Только живет он в иное время, его заставляют присутствовать на суде над нацистами, а не отправлять в крематорий евреев; а в общем-то, вполне могли бы и заставить, по его слабоволию. Ибо вопрос не в том, что есть добро, а что зло, это мы все прекрасно знаем, когда не лжем, а в том, как суметь жить по правде. Научил ли Михаэль Берг этому собственную дочь, вопрос открытый. В принципе, можно научить тому, чего сам не умеешь, только зависит это в большей степени не от тебя, а от того, кого пытаешься учить. И потому я не спешил бы осуждать исторический нигилизм нового поколения. Это — способ сформировать отношение к прошлому.

Невежество опасно тем, что оставляет пустое место, которое может быть занято ложью; но даже невежество лучше, чем ложное знание. Лучше не знать о второй мировой войне вовсе, чем быть уверенными, будто Гитлер был эффективным менеджером, ликвидировавшим безработицу, избавившим немцев от национального унижения, и вообще почти построил социализм (с приставкой «национал», под красными знаменами со свастикой), чему помешали западные плутократии. Потому что возможна ведь и такая память о войне, какая сохраняется у одного из героев А. Мартыанова: «Поймите, вместе немцы и русские смогли бы завоевать весь мир. Соединившись вместе, наш порядок и ваша стойкость произвели бы эффект больший, чем все атомные бомбы вместе взятые... Будь прокляты политики»<sup>13</sup>.

Но знание тоже оказывается немалым бременем. Лицемерно было бы выдавать за знание информированность выпускников школ о паре десятков дат и событий. И, в общем-то, сведение представлений о прошлом к интегративной моральной оценке: «Гитлер, Сталин, Пол Пот — это плохо» — не самый худший вариант. Как пишет, подводя итоги проекта «Человек в истории. Россия: XX век», И. Л. Щербакова, «происходит важная вещь, идущая в разрез с официальным советским образом войны, который сегодня насаждается гораздо активнее, чем это было еще несколько лет назад. Происходит несомненная деидеологизация этого образа»<sup>14</sup>. Разумеется, прошлое было

<sup>12</sup> Блок А. Девушка пела в церковном хоре. Август 1905.

<sup>13</sup> Мартыанов А. Мыши! // Священная война [сборник] (Антология — 2008). Эксмо, Яуза; Москва. 2008.

<sup>14</sup> Щербакова И. Л. Над картой памяти // Неприкосновенный запас [Текст] : Дебаты о политике и культуре/ Гл. ред. И. Прохорова.



ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич / Lev YAKOVLEV

| Колонизация прошлого |

неизмеримо сложнее, в том же «Молохе» предстает вовсе не плоский муляж Гитлера, с именем Сталина связаны не только репрессии, да и в личности Пол Пота, возможно, отыщутся, если поискать, какие-то грани. Но это, «большое», знание требует усилий и времени; профанировать его опасно.

На Кембриджских чтениях декабря 2008 года «Культурная память в странах Восточной Европы» Дина Хапаева утверждала, что результаты опросов, согласно которым 80% респондентов в России признают сталинизм «золотым веком» советской истории, представляют собой результат сублимации негативного опыта травмы<sup>15</sup>. Это суждение, вероятно, верное в отношении старшего поколения, представляется не совсем распространяемым на тинейджеров. Что касается последних, для них образ Сталина, скорее, представляет собой некий гибрид из муляжей «Цивилизации» Сида Мейера и кадров фильма «Сталин: live», иными словами, не «мифического монстра», как пишет Д. Хапаева (образы, создаваемые В. Сорокиным и С. Лукьяненко тоже принадлежат старшему поколению), а экспонат музея восковых фигур.

В советской пропаганде был модный тезис об «уверенности в будущем» советских людей, компенсировавшей, подразумевалось, все: неустроенность быта, отсутствие перспектив, невозможность самореализации, неизданного В. Набокова и одну-единственную, за всю советскую эпоху, пластинку The Beatles, позор пражской весны и закрытые границы. Добрых полтора десятка лет, с того времени, как начала умирать вера в обещания про скорое построение коммунизма, весь нависавший над стабильностью и благополучием советских людей хаос сдерживался, как рвущееся через плотину море — ладошкой заткнувшего трещину голландского мальчика, именно этими несколькими словами. И у них хватало силы, потому что тому, кто способен противостоять Времени, нет противника.

Страх перед будущим заключает в себе все страхи человека: боязнь потерять то, что дорого; неуверенность в собственных силах; неспособность довериться другим людям, и особенно, близким; ужас смерти. И вот ему говорят, что можно не бояться, будущего просто не будет. После «гибели богов» это — самый мощный аргумент псевдокоммунистической модернизации. Ведь если жить в растянутом до бесконечности вчерашнем дне, можно ничего не бояться вовсе: прошлое защищено ото всего, что способны выдумать люди, ему не страшны ни голод, ни болезни, ни бомбы. Мы называем сегодня наше общество обществом двух скоростей, но в СССР, куда более удивительным образом, сосуществовали люди, живущие в разных временах. На долю одних приходилось линейное, такое, каким его видели прогрессисты и просветители, время; другие проживали один-единственный, повторяющийся, снова и снова, день.

Бегство от свободы имеет не только социальную природу, на которую указал Э. Фромм, но и экзистенциальную. Человек испытывает страх потерять себя, не найти привычного своего «Я» в том существе, которое заменит его завтра в переменяющемся мире, приспособившись к этим переменам. Мы придумываем моральные нормы, правила, не только для других, чтобы их подчинить, или, хотя бы, сделать предсказуемыми, но и

М. : Новое литературное обозрение, 2001. N 2/3 (40/41) С. 108–115.

<sup>15</sup> См.: Пашолок М. «Культурная память в странах Восточной Европы». Научные чтения Кембриджского университета // НЛО. 2009, № 95.

для себя, чтобы не утратить идентичности; конструируем для себя иллюзию причастности.

Иллюзию, показанную в пространстве совершенно иной эстетики, Л. Прозоровым в фантазмагорическом рассказе «Юбилей». Там нет народа вовсе, есть только фюрер, совершенно безумный, принимающий парад на трибуне, украшенной отрубленными головами побежденных врагов; но именно в этом безумии заключен механизм его связи с массами, которым он не предлагает долгой и счастливой жизни, только чудовищную, нечеловеческую славу<sup>16</sup>.

На первый взгляд, подобная логика социального контракта осталась в прошлом, люди сегодня (во всяком случае, в индустриальных странах) слишком рациональны, чтобы поддаваться на агитацию, в основе которой лежат лозунги из разряда «кровь и почва». Но если осенью 2011 года, на фоне растущего размаха движения «Захватим Уолл-Стрит», пропагандистская компания республиканской партии разворачивалась под откровенно имперскими лозунгами, в этом трудно заподозрить упование на иррациональные компоненты в массовом сознании. Скорее, речь идет об апелляции к довольно банальной логике, в соответствии с которой статус имперской нации дает практические преимущества. И неважно, что в действительности бывает совсем по-другому.

Мир кажется нам слишком сложным, чтобы не бояться в нем потеряться. Многим показалась циничной реакция Р. Столлмана (Richard Matthew Stallman) на смерть С. Джобса: «я не рад его смерти, но рад тому, что его больше нет... Умер Стив Джобс, пионер компьютера как разукрашенной тюрьмы, придуманной с целью отнять у глупцов свободу... Мы можем лишь надеяться, что его преемники, продолжатели его наследия, будут менее эффективны»<sup>17</sup>. Это высказывание порождено стремлением соответствовать образу бескомпромиссного борца против проприетарного программного обеспечения, за свободу каждого стать хакером. На самом деле, большой вопрос, чей вклад в развитие свободного программного обеспечения больше, хотя С. Джобс, действительно, выступал, как правило, против самой идеи не-проприетарных программ. Но все публикации принципиальных, последовательных защитников права человека на информацию не оказали на формирование идеи свободы в общественном мнении и десятой части того влияния, какое оказано рекламными компаниями Apple, имевшими целью только завоевание рынка.

Мир растворяет нас, не обращая внимания на наши убеждения, пристрастия, иллюзии; знание об идеалах, которыми обладает тот или иной человек, дает нам очень немного для понимания того, какими будут результаты его деятельности. С. Джобс, с той поры, как деятельность Apple стала финансово успешной, и, тем более, Б. Гейтс, для правоверных защитников свободы киберпространства стали почти символами зла. Но без этих двух людей компьютер, скорее всего, оставался бы до

<sup>16</sup> Прозоров. Юбилей // Священная война. М., «Яуза-Эксмо», 2007.

<sup>17</sup> Столлман Р. Стив Джобс: я рад, что его больше нет. 8 октября 2011. [http://search.yahoo.com/r/\\_ylt=A0oG7nv4RL5OoWYAhkNXNoA;\\_ylu=X3oDMTE1M2t0bXN1BHN1YwNzcGRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dG1kA1ZJUdAyM18yNTE-/SIG=12rbvaj2m/EXP=1321121144/\\*http%3a//inoblogger.ru/2011/10/08/stiv-dzhobs-ya-rad-cto-ego-bolshe-net/](http://search.yahoo.com/r/_ylt=A0oG7nv4RL5OoWYAhkNXNoA;_ylu=X3oDMTE1M2t0bXN1BHN1YwNzcGRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dG1kA1ZJUdAyM18yNTE-/SIG=12rbvaj2m/EXP=1321121144/*http%3a//inoblogger.ru/2011/10/08/stiv-dzhobs-ya-rad-cto-ego-bolshe-net/)





сих пор инструментом технарей, ученых, не изменив наш мир, не став символом свободы для всех.

И здесь для нас центральным становится вопрос границ, глубины, масштаба ответственности. Пространство решения этого вопроса замкнуто континуумом, по одну сторону которого гипертрофия вины, максимизация последствий любого поступка, в духе культового рассказа Р. Бредбери «И грянул гром»; по другую — гипертрофия безответственности, идеология, выраженная фразой «мы люди маленькие, и звать нас никак», построенная на уверенности, что от маленького человека ничего не зависит, а раз так, то и спроса с него никакого быть не может.

Но нас в данном случае интересует еще один аспект, связанный с осмыслением времени. В упомянутом рассказе Р. Бредбери последствия даже мельчайших воздействий на мир сказываются спустя миллионы лет, а значит, если мы верим в это, то должны рассматривать как свое актуальное прошлое, всю историю, другой вопрос — человечества, или только своей страны. Р. Бредбери, однако, работает с чистой метафорой. Для него важно лишь подчеркнуть свое неприятие парадигмы, выраженной словосочетанием «моя хата с краю».

Попытки подчинить историю повсеместны. Школьные учебники, и не только в СССР, писались и пишутся, как показал, например, в своем исследовании М. Ферро<sup>18</sup>, с позиций последовательного размежевания «добра и зла». В советской историографии этот принцип был проведен наиболее последовательно, потому что господствующая идеология предоставляла для этого хорошую возможность центрированием вокруг тезиса о классовой борьбе. С удивительной легкостью продуцировались оценки деятельности римских консулов, древнегреческих стратегов, египетских фараонов, все — благодаря универсальному критерию конечного торжества дела коммунизма. Но, по сути, ту же упрощенную универсализацию мы находим и в курсах истории, преподаваемых школьникам США, европейских стран. Именно в этом одна из главных причин исторического нигилизма молодежи, некоторыми воспринимаемого как крах культуры вообще.

Стоило бы вдуматься в смыслы отказа юношей и девушек от знания того, кто с кем воевал полвека назад, или какие должности занимали люди, чьи имена когда-то знал каждый ребенок. Этот отказ (совсем иной тональности, нежели *Innuende Queen*) представляет собой реакцию на навязывание, в качестве безупречной необходимости, ощущения преемственности, которой люди в действительности не чувствуют. Глубина исторической памяти объективна, ее нельзя навязать. Вместе с тем, определенные воздействия на нее официальная идеология оказывает.

Подлинная историческая проза неизбежно несет на себе налет эскапизма. Настоящее слишком сильно, слишком требовательно, чтобы легко отпускать нас в странствования по прошлому. Но эскапизм тоже не безопасен. Вообще говоря, *one way ticket*<sup>19</sup> — это, почти всегда, билет не куда, а откуда. Не ча-

сто мечта бывает настолько предметной, чтобы выстроить для нас мир, в котором настолько сильно хочется жить. И середина XX столетия, возможно, была последней, и самой масштабной, попыткой людей попробовать «жить по мечте». Были мечта американская, мечта коммунистическая; фашизм тоже был мечтой, мифом, разрушенным анализом К. Г. Юнга в «Психологии нацизма», аллегорическим прочтением в «Лже-Нероне» Л. Фейхтвангера.

Время утопий закончилось, и все больше текстов становятся «билетами отсюда», неважно, куда. Однако, именно для исторической прозы построить образ этого самого «куда» особенно важно. Слишком большая доза эскапизма делает виртуальный мир книги призрачным, блеклым на фоне выписанного ненавистью и разочарованием мира сегодняшней реальности. «Юбер Аллес», как и «Евразийскую симфонию», спасает ирония. А главное, это тексты, принадлежащие, безусловно, постмодерну, но не в плане техники. Напротив, для них характерны «классические» решения. Автор дистанцирован от нарратора, герои прописаны вполне традиционно, от читателя не требуется сверхусилий в «достройке» образов. Благодаря этому происходит очень интересная вещь: эскапизм атрибутируется персонажам, и ориентирован не на реальность читателя, даже не на реальность текста, а на виртуальную, внутри виртуальности, альтернативу. Предельно явным художественным воплощением этого становится образ ночного кошмара Власова-младшего: ему снится штурм рейхстага в мае 1945, которого в его мире просто не было. Впрочем, в концовке романа сон станет явью.

«Юбер Аллес» и «Евразийская симфония» — исключения. Мэйнстрим альтернативной истории Второй мировой войны форматирован доминантой эскапизма. В большинстве случаев, впрочем, текстам просто не хватает художественной выразительности, чтобы заставить читателя это ощутить. Но иногда прямой авторский монолог несет в себе настолько сильные эмоции, что овладевает читательским восприятием.

В этом плане характерны фрагменты текста Евгения Лысова «Противостояние: Время в наших руках»<sup>20</sup>. «Этот мир — болен. Болен смертельно. Построенный вокруг бесконечного потребления... Мир в котором правила не ученые и творцы, а мошенники и банкиры... Знаете, в этот момент я понял, что этот мир даже страшнее, чем однажды приснившийся мне мир победившего нацизма. По крайней мере в том мире — человечество, пусть и только в составе победивших, все еще тянулось к звездам. В моем реальном мире — человечество зарылось рылом в кормушку». «В голове было пусто. Точнее — там были только боль и ненависть. Я уже видел, какими мы все должны были быть. Я знал, каким мог бы быть весь наш мир... Пусть это было лишь моей галлюцинацией, фантазией в коматозном состоянии, но это был тот идеал, к которому мы должны были стремиться. Мы должны были быть цивилизацией творцов. Сильными, смелыми, гордыми и мужественными! Те, кто сейчас горбатился за гроши на ограбившего их же и их отцов — никогда не должны были познать этого рабского ярма!»

И неважно, что нарратор понимает, какая мания им владеет: «Я боялся, что со смертью нахлынет чернота. А когда

<sup>18</sup> Ферро М. Как рассказывают историю детям в разных странах мира. М., из-во Книжный Клуб 36.6. 2010.

<sup>19</sup> В тексте (Jack Keller, Hank Hunter) культовой песни Neil Sedaka, возможно, приобретшей наибольшую известность в исполнении Wopie M., эта строка просто прямо присутствует: «Tuckin' down the track; Gotta travel on it; Never comin' back; Ooh, ooh got a one way ticket to the blues».

<sup>20</sup> Лысов Е. Противостояние: Время в наших руках // Журнал «Самиздат». <http://depositfiles.com/files/4t3uckm83>



ЯКОВЛЕВ Лев Сергеевич / Lev YAKOVLEV

| Колонизация прошлого |

она схлынет — я увижу лицо врача-психиатра, убиравшего шприц». Конечно, здесь прослеживается влияние В. Пелевина, а главное, эмоциональная энергия текста сосредоточена, почти целиком, в нескольких монологах. Но определенная тенденция в нем выражена. Эскапизм как ориентация, как жизненная позиция, обладает мощным потенциалом, но сам по себе не слишком пригоден для конструирования виртуальных миров, выступая предпосылкой для стремления к их созданию. Поэтому образы прошлого, создаваемые в многочисленных текстах о «попаданцах» несколько ходульны, условны, уязвимы в существенных деталях. Тем не менее, такие тексты создаются в большом количестве, но говорит это не об эффективности программы их разработки, а об устойчивости общественных настроений, ориентированных критически в отношении нашей реальности.

По удивительно точной формуле П. Крусанова, «проблема Империи — это проблема времени: история в Империи должна остановиться»<sup>21</sup>. Апология прошлого становится не его увековечиванием, а убийством; прошлое поглощается бесконечностью сегодняшнего дня. Книга Л. Вершинина «Первый год республики. Хроника неслучившейся кампании» имеет странный, двусмысленный эпиграф: «Одессе — моему городу, и России — моей стране, с абсолютной верой в то, что никакая ночь не приходит навсегда...». Если читать текст буквально, логика эпиграфа соотносится с возвратом на «естественную» ветку истории.

В этом случае перед нами хроника дурного сна, кошмара, в котором герои обречены совершать то, что сами считают злом, и не могут вырваться из-под власти обстоятельств. Массовые репрессии, казни, пытки, фальсификация правосудия, сводничество — пожалуй, немного найдется вещей, которые они не полагали бы недопустимыми, постыдными, невозможными для себя, и не сделали бы. Во имя свободы, во славу республики — нет, конечно, в победу никто не верит с самого начала. Люди, творящие даже то, что сами считают преступлением, но во имя того, во что верят, не бывают настолько несчастны, не чувствуют себя до такой степени обреченными. Как герои классической греческой трагедии, они подвластны року, и сознают это. И концовка книги, кажется, звучит мелодией пробуждения: «вот скажи: ты жил, я жил, люди кыругом тоже жил. Яман, якши... жил, однако. Тепер — йок, сап-сем карачун... Кырым кыров, Русистан кыров... что такой, ты знай? небо упал, а?

Спросонок не усмехнулся даже наивности степняка. Встряхнул головой, соображая.

— Революция сие, Махмет.

— Как сказал?

— Ре... волю... — и не сумел договорить, не то что растолковать...

Татарин вновь было сунулся будить, потряс, подергал. Никак; вмертвую рухнул попутчик. Хмыкнул. Огладил усики. Подложил под голову шапку.

— Храпай, Урус...

Отошел, в арбу заглянул. Татарчат троих погладил осторожно, боясь разбудить. Вернулся к костру, усталился в огонь.

Клубится тьма.

Потрескивает в степи костерок.

Гаснет, затухает зарево над Новороссией...»<sup>22</sup>.

Итак, мир вернулся к норме, в соответствии с которой люди просто живут, рожают и воспитывают детей, не задумываясь о революциях, которые, в этой логике, принесены в мир не иначе, как врагом рода человеческого. Следовательно, и эпохе «бархатных», «оранжевых» революций придет конец. Мир снова станет таким, каким был года, примерно, до 1991, если не до 1985. Но, прежде, чем обсуждать, возможно ли такое, стоит довести мечту до конца. Возвращаться в прошлое, так возвращаться; а в этом советском прошлом декабристское движение оценивалось вполне однозначно. И в советской системе ценностей «ночь» это торжество реакции, временное поражение революционеров. Однако, Л. Вершинин пишет не о политике, или, во всяком случае, прежде всего, не о политике. «Первый год республики» — война не против революций, за легитимность власти, а против Времени. Человеку с ним спорить не по плечу, если только не взять в союзники вечность. Так Л. Вершинин и поступает.

Нравственный императив жанра — оправдание защиты прошлого от посягательства, патруля времени, щита времени — диктуется отнюдь не представлением, будто мы живем в лучшем из миров. Авторы альтернативных историй, сознательно или подсознательно, не упускают из виду, что в действительности изменить прошлое нельзя. Виртуальная реальность существует лишь в нашем восприятии. И стремление постоянно возвращаться к прошлому, проживать его снова и снова, не более, чем вариация невротического поведения. Человек все равно живет здесь и сейчас, что бы он об этом ни думал. От того, будем мы полагать Иоанна Грозного сумасшедшим палачом, или истинно народным царем, ничего вокруг нас не изменится; изменится лишь наш взгляд на реальность. Но изменить его мы можем и множеством других способов, просто пересмотр истории — самый простой и доступный из них. И самое главное, что адаптация к реальности посредством изменения собственной оценочной позиции в отношении нее, имеет вполне определённые границы. Мы можем убедить себя, будто нам нравятся неудобные вещи, неэффективные алгоритмы поведения, но суть дела заключается не в том, чтобы примириться с миром, а чтобы в нем жить. А для этого надо, чтобы наши действия приносили желаемые результаты, чего сложно добиться, создав себе искаженную картину мира.

Самым лучшим было бы не вторгаться в прошлое с оценками вовсе. Тот же Иоанн Грозный вел себя в соответствии с нормами времени, в каких-то случаях их переступая, но и те его поступки, которые современниками воспринимались без отторжения, мы неспособны адекватно оценить, не становясь на позиции людей той эпохи. Но, сделав это, мы заведомо лишаем себя возможности вынести из виртуального мира в наш нравственную оценку, она останется там, в сконструированной нами модели истории. Попытаться соткать единую ткань времени бессмысленно. Прошлое было таким, какое получилось, ему

<sup>21</sup> Крусанов П. Сим победиши // Крусанов П. Отковать траву. Рассказы, повесть. СПб.: Борей-Арт, 1999. С. 96.

<sup>22</sup> Лев Вершинин Первый год республики Хроника неслучившейся кампании // Священная война [сборник] (Антология — 2008). Эксмо, Яуза; Москва. 2008.



наши оценки безразличны. А на наше сознание они оказывают такое же воздействие, как любой невроз.

Это не означает, конечно, необходимости забыть прошлое, равно как и отрицания науки истории, или исторической прозы, в том числе, альтернативного жанра. Речь о том, что надо перестать воспринимать прошлое как часть своего «я». Этой частью является не оно, а наше представление о нем. И этих представлений может быть бесконечно много.

Анализ текстов, привлеченных нами в дискурс, позволяет выявить процессы, связанные с накоплением противоречий между напластованиями слоев исторической памяти и конструктами памяти культурной.

Случай «Чтеца» самый очевидный: здесь присутствуют четыре слоя исторической памяти непосредственно в кинотексте (40-е, 50-е, 60-е, 80-е годы), плюс слой современности фильма (вторая половина нулевых). Предложенная автором (насколько можно в данном случае полагать авторскую позицию однозначной) версия метанарратива не снимает очевидные противоречия, если не считать за снятие надгробную молитву. Уложить в память отдельно взятого человека контексты событий прошлого так, чтобы этот человек мог хоть в какой-то степени не полагать свою жизнь напрасной бессмыслицей — задача важная, но не исчерпывающая собой общественных проблем.

В нарративе Л. Вершинина сосуществуют два динамических процесса: переплетаясь, и расходясь, проходят два варианта истории середины 20-х годов XIX века. Ретроспективный эксперимент, осуществленный в повести, на самом деле ничего не доказывает. Декабристы и в этой версии событий не обязательно должны были потерпеть поражение: их движение представляло собой отнюдь не что-то уникальное, а один из вариантов Атлантической революции; другие заканчивались иначе. В Неаполе и Испании — поражением, в США — блистательным триумфом, во Франции — удивительной чередой республик и империй, в Латинской Америке — сначала неудачей Миранды, потом победным шествием Боливара. Что же касается оценки нравственной, она зависит от критериев, а именно критерии и меняются в ходе революций. Что на самом деле доказано — противоречивость образа движения декабристов в исторической, культурной памяти.

Виртуальный мир «Юбер Аллес», на первый взгляд, организован предельно простым и традиционным нарративом. События разворачиваются в четко обозначенном временном интервале, в прямой последовательности. Но, по мере их движения,

становится ясно, что настоящее — лишь россыпь отражений осколков прошлого и будущего. Авторы дают герою и читателю ложный след, намекая на какие-то судьбоносные секреты, скрытые в неких рукописях о событиях прошлого. Но, прочитав эти рукописи, мы понимаем, что само по себе знание «как все было на самом деле» не изменяет ничего. Люди сами конструируют свою память, она не «чистый лист», на котором идеологи, историки, «инженеры душ», вольны писать, что пожелают. Ж. Бодрийяр справедливо назвал массовое сознание черной дырой, в которой пропадают пропагандистские инициативы. Мир, в котором Гитлер убит заговорщиками в 1941 году, рейх выиграл войну, Лени Рифеншталь живет в Петербурге, а Никита Михалков — президент России, кажется, имеет с нашим миром мало общего, но хватает всего полувек, чтобы линии развития этих миров практически выравнялись. События прошлого оказываются легко взаимозаменяемы, историческая память не имеет цены вовсе, а память культурная определяется вовсе не традицией.

Колонизация прошлого представляет собой его присвоение, которое может быть основано на разных принципах. *Модель прямой тождественности*, базирующаяся на циклическом ощущении времени, игнорирует разницу эпох, благодаря чему создается ложное, но комфортное восприятие прошлого и настоящего, как, практически, одной и той же реальности, различия в которой нет нужды анализировать. Схема Фоменко-Носовского являет собой лишь наиболее одиозный пример такого видения мира. *Провиденциализм* описывает историю, как развертывание промысла. Такое восприятие тоже комфортно из-за необязательности вникать в действительные обстоятельства, поскольку имеется универсальная общая схема, позволяющая их предсказывать. *Аналитическая модель* предполагает стремление к максимально адекватному описанию прошлого, но, во-первых, далеко не всегда такое описание нам позволяет построить совокупность доступных данных, во-вторых, этот способ явно не подходит для освоения массовым сознанием. *Клипсовая модель* отторгается большинством профессиональных историков и идеологов, в силу ее кардинального несоответствия устоявшимся схемам объяснения прошлого и использования этих объяснений в практических целях. Тем не менее, именно она сегодня имеет наиболее очевидную перспективу, не в силу своей постмодернистской природы, а по чисто социологическим соображениям, как наиболее адекватная картина мира, выстраиваемая для себя новыми поколениями.

